ДАСТАНЫ “КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД” (ПЕСНЬ ПЕРВАЯ)
О СЫНЕ ДИРСЕ-ХАНА, О БУГАЧ-ХАНЕ ПОВЕДАЕТ

(Отрывок из песни первой)

Хей, хан мой!

Как вставал со своего места хан Баяндур, Кам-Гана сын, ставил середь земли дамасский свой ***балдахин***[1], пёстрый навес вздымал до самых небес, шёлковые ковры расстилал в тысяче мест.

Хан Баяндур, над ханами хан, раз в году пир затевал, беков-огузов в гости сзывал. И теперь пир затевает: из коней — жеребцов, из верблюдов — самцов, из овец — баранов резать повелевает. Где белый шатёр, где красный, где чёрный шатёр ставить велит и так говорит:

— У кого ни сына, ни дочери — того в чёрный шатёр сажайте, чёрный войлок ему стелите, мясо чёрного барана ему подносите. Станет есть — пусть ест, а не станет есть, пусть встаёт и уходит. У кого сын, того в белый шатёр, у кого — дочь, того в красный шатёр. У кого ни сына, ни дочери, того бог всемогущий проклял, и мы проклинаем, а кому неведомо это, пусть знает!

Беки огузов один за другим стали сходиться, съезжаться. А был один бек, по имени Дирсе-хан, и не было у него ни сына, ни дочери.

И сказывают, а послушай, хан мой, что сказывают:
В пору веянья ветра рассветного, ветра холодного,
В пору пения жаворонка сизобородого,
В час моления **тата**[2] длиннобородого,
Как заржут быстроногие кони, завидев хозяина,
Как борцы-удальцы свои игры начнут, состязания,
В час, когда свет от тьмы отделяется,
белизна с чернотой различается.
И вершин гор крутых с их зелёными склонами
солнце касается.

На заре Дирсе-хан поднимается, живо сбирается, сорок джигитов с собою берёт, на пир, на беседу к Баяндур-хану идёт.

Джигиты Баяндур-хана его встречают. В чёрный шатёр ведут, сажают, чёрный войлок ему подстилают, мясом чёрного барана угощают.

— Таково повеление Баяндур-хана, — ему отвечают.

Дирсе-хан вопрошает:

— В чём же Баяндур-хан увидел во мне изъян? Или мой меч не разит, или он хлебом-солью моим не сыт? Мужей и ниже меня и негоже в белых и красных шатрах посадил, чем же я ему не угодил, чтоб так меня унижать, в чёрный шатёр сажать?

А ему отвечают:

— Таково повеление Баяндур-хана, таков приказ: у кого ни сына, ни дочери, того бог всемогущий проклял, и мы проклинаем!

Дирсе-хан мигом вскочил, говорит:

— Поднимайтесь, джигиты мои, поспешайте! По моей ли вине, по вине ли жены, но на мне этот чёрный позор!

Пришёл Дирсе-хан домой, стал говорить с женой, кличет жену, зовёт, говорит, а послушай, хан мой, что говорит:

---

[1]Балдахин — украшенный навес на столбиках.

[2]Тат — так называли огузы местных мусульман.

Ты, моё счастье!
Ты, моя доля!
Выйди, оплот мой, венец в моём доме!
Выйдет из дома, пройдётся такая красавица,
Статная, ро́слая, стан — кипарис, не сгибается,
Чёрные косы лодыжек вокруг обвиваются.
Тесно в устах твоих алых орешку миндальному,
Жарко щекам, словно яблоку в осень румяному,
Луком изогнуты брови, сошлись к переносице,
Ты, моя тыковка, дынька, жена — плодоносица!
Знаешь ли ты, что случилось?

Хан Баяндур поднимался, с места вставал. Землю шатрами уставлял, где белый, где красный, где чёрный шатёр становил и так говорил:
сыновей имеющих — в белый шатёр, дочерей имеющих — в красный шатёр, ни сына, ни дочери не имеющих — в чёрный шатёр ведите, чёрный войлок ему стелите, мясо чёрного барана подносите, станет есть, пусть ест, не станет, пусть встаёт и уходит, потому что у кого ни сына, ни дочери, того бог всемогущий проклял, и мы проклинаем.

Прихожу я туда, встречают — в чёрный шатёр сажают, чёрный войлок мне подстилают, мясом чёрного барана угощают и отвечают:

— У кого ни сына, ни дочери, того бог всемогущий проклял и мы проклинаем, кто про это не знает, пусть знает... Твоя ли вина? Моя ли вина? Ты отвечать должна. И хочу я знать, почему всевышний не может единственного сына нам дать?

Отвечала жена Дирсе-хану, а послушаем, что она отвечала:

— Не гневись, Дирсе-хан! Не карай! Горьким словом, обидевшись, не упрекай! Встань-ка и ты, будь скор. Поставь на земле свой пёстрый шатёр. Пиром народ потешь: из коней — жеребцов, из верблюдов - самцов, из овец - баранов прирежь. Созови на пир весь огузский мир: и Дальних огузов и Ближних, чтобы не было ни забытых, ни лишних. Увидишь голодного — накорми, увидишь нагого — одень, наряди. Долги должнику прости. Холм сложи из мяса. Надои озёра **кумыса**[3]. На великий пир не скупись. О сокровенном молись. **Буде**[4] дойдёт наша молитва общая до Всеславного, пошлёт он нам потомка желанного.

Дирсе-хан по слову супруги на великий пир не скупился. О сокровенном молился. Из коней — жеребцов, из верблюдов — самцов, из овец — баранов прирезал. Беков Ближних огузов и Дальних огузов к себе на пир созвал. Увидев голодного — насыщал, увидев нагого — одевал, наряжал, долги должникам прощал. Гору мяса сложил, озёра кумыса надоил.

Обет[5] дали. О сокровенном молили.

И услышал всевышний молитву их общую и послал ему боже потомство желанное. Забрюхатела жена его.

Минуло время, сына она родила, кормилицам отдала, растила его, берегла.

Конь на скаку споткнётся, а певец поёт, не запнётся, а первенец растёт, как скачет во весь опор, не угнаться.

Была бы кость — будет и плоть. Вот исполнилось мальчику пятнадцать.

Тут, однажды, и сменил кочевье отец мальчугана, вступил в орду Баяндур-хана.

---

[3] ***Кумы́с*** *— напиток из кобыльего молока.*

[4] ***Бу́де*** *- то же, что если.*

[5] ***Обе́т*** *— торжественное обещание, обязательство.*

Так-то, хан мой! Был у Баяндур-хана бык — бугай здоровый и ещё был верблюд **матёрый**[6]. Как бугай тот рогами о камень ударится, камень тот мукой рассыпается. Раз по весне, раз по осени бугая с верблюдом стравливали.

Баяндур-хан с великими беками всех огузов на зрелище это глядели да тешились.

Так-то, султан мой! Как вновь по весне бугая из сарая выводить стали, слева три мужа, сильных и дюжих, справа три мужа, сильных и дюжих, на железной цепи его еле держали.

Вывели на середину майдана; спускать было стали.

Так-то, султан мой! А там-то сынок Дирсе-хана и ещё из орды с ним три мальчика в бабки играли.

Стали быка спускать. «Бегите», — мальчишкам кричат. Те-то трое мальчиков прочь побежали. Сын Дирсе-хана не побежал. Встал среди Белого **Майдана**[7], поглядел, подождал.

Тут бугай на мальчика и набежал. Вот-вот убьёт! А мальчик как хряснет по лбу быка! Да так крепко, что бык так и присел, так и пошёл задом, так и попятился...

Снова идёт бык на Дирсе-хана сынка, снова направился.

И снова удар кулака встречает быка! И так у мальчика крепка оказалась рука, что у быка ходуном заходили бока. А Дирсе-хана сынок на **обочь**[8] майдана бугая поволок.

Мальчик с быком силой тягался. Бык о его кулак лбом опирался, пеной весь покрывался. Ни бык, ни мальчик не уступали. Ни тот, ни другой не отступался.

Наконец, мальчик и догадался: только крышу столбом подпирают, для того и опора бывает. И что это я быку опорой служу? Стою и его на себе держу?

Оторвал свой кулак от бычьего лба да и отпрыгнул в сторону, рухнул бык, что кров без столба, не устоял, упал сам себе на голову. А парень-то скок, выхватил нож и взмахом быку голову-то и отсёк!

Беки огузов на майдане сходились, вокруг мальчугана теснились. Хвалили его, говорили:

— Пусть отец наш, Горгуд, придёт, этого юношу наречёт, имя славное ему даст. Пусть у отца его выпросит юноше бекство, престол и наследство.

Отца Горгуда призвали. Отец наш Горгуд явился, вместе с юношей пошёл к его отцу и к отцу обратился. А послушаем, хан мой, как обратился:

Эй, Дирсе-хан!
Дай сыну сам
Власть и престол
— мужествен он.
Дай быстроногого,
дай скакуна,
Ездить верхом
— доблестен он.
Дай тьму овец и баранов,
Дай на прокорм
— мужествен он.
Из вереиц верблюдов **рудых**[9]
Дай одного для поклажи его
— доблестен он.

---

[6] ***Матёрый*** *– крепкий, полный сил.*

[7] ***Майдан*** *– базар, базарная площадь.*

[8] ***Обочь*** *– обочина, т.е. боковая часть, край дороги.*

[9] ***Ру́дый*** *– в знач. рыжий.*

Дай златоверхий сыну шатёр
В тени укрываться
— мужествен он.
Дай шитый шёлком сыну
кафтан
Носить, наряжаться
— доблестен он.

На Белом Майдане Баяндур-хана сын твой сражался и победил. Быка-бугая он убил. Будь же и сын твой по подвигам славным наречён Бугач-ханом. Я ему имя даю среди нас, долгую жизнь пусть Аллах ему даст!..

СТАМБУЛЬСКИЙ ПОХОД КЁРОГЛУ

Далеко разнеслась слава о Кёроглу. И всяк, кто не хотел больше терпеть гнёт ханов и пашей, шёл в Ченлибель, чтобы примкнуть к его отряду. Жизнь теперь в Ченлибеле текла совсем по-особенному. Только приходи и любуйся! Кто строил себе жильё, кто упражнялся в стрельбе из лука, кто джигитовал на коне, кто состязался на скачках. Бывало, что, когда лихие **джигиты**[10] обнажали мечи, они словно огни вулкана озаряли Ченлибель и светили на все четыре стороны.

В Ченлибеле были свои законы и обычаи. Когда наступали часы работы – все работали, в воинский час – упражнялись в воинских занятиях, а когда приходило время забав и развлечений – развлекались, кто как мог. Удальцы несли охрану вокруг горы.

Быстро разнеслась слава о Кёроглу, не было такого места на земле, где бы не знали о нём.

Не было такого хана или паши, у кого при имени Кёроглу
не *пробегала* бы *дрожь* по спине. Не было такого игида, такого удальца, *сердце которого не забилось бы сильнее* при имени Кёроглу.

Слава о нём дошла и до Стамбула. В одной из стамбульских деревень жил юноша по имени Белли-Ахмед. У него только-только *начинали пробиваться усы*. Но в силе и мощи он не уступал Рустаму-пехлевану. Сам же он был добр и щедр…

(Белли-Ахмед, услышав о храбрости Кёроглу, решил отправиться в Ченлибель. Дойдя до Стамбула, он на базаре увидел, как люди, слыша крики глашатая, бегут в разные стороны. От прохожего купца он узнал, что скоро здесь должна проехать дочь султана – Нигяр. Султан приказал, чтобы никто из мужчин не смел смотреть на его дочь. Поэтому все прячутся. Но лавки остаются открытыми, чтобы Нигяр-ханум могла выбрать понравившийся ей товар. Потом её люди приходят к купцу расплатиться за него. Белли-Ахмед, не зная, где спрятаться, залез в овощную лавку, заперев её изнутри. Идущая по базару Нигяр-ханум увидела запертую дверь лавки и приказала её отпереть. Найдя в лавке Белли-Ахмеда, Нигяр-ханум хотела его казнить, думая, что он специально спрятался тут, чтобы на неё посмотреть. Но, узнав, кто он и куда отправляется, она быстренько написала письмо, попросив передать его Кёроглу. А чтобы Кёроглу поверил Белли-Ахмеду, она отдала тому золотой браслет. А в придачу дала пригоршню золотых монет, чтобы тот купил себе лошадь. Белли-Ахмед купил коня и отправился в Ченлибель).

Так, не отличая ночи от дня, а дня – от ночи, после долгого пути доехал он, наконец, до подножья Ченлибеля. Посмотрел он кругом, чтобы найти проход к горе; вдруг видит – со всех четырёх сторон окружили его…

Повели его к Кёроглу. Белли-Ахмед вручил ему весточку от Нигяр-ханум. Кёроглу распечатал письмо и прочёл, что писала султанская дочь.

Жизнь за тебя отдам я, Кёроглу.
Пленит меча блистание меня:
Приди и увези, коль ты игид –
Измучили стенания меня.

На Ченлибеле доблестный герой,
Перед врагом, как муж, *стоишь горой*!
Верна я слову – буду век с тобой, –

---

[10] ***Джиги́ты*** *– искусные наездники.*

Нет в мире постояннее меня.

Султана дочь – Нигяр – уже давно
Презрела шаха с ханом заодно.
Есть у меня желание одно:
Зови своей желанною меня

Только Кёроглу прочитал письмо, тотчас же призвал он Дели-Мехтера и сказал:

– Оседлай Гырата, я должен ехать в Стамбул.

– Кёроглу, где твой разум, что тебе делать в Стамбуле? – запротестовали воины. – Не знаешь разве, что паши *жаждут твоей крови?* Поедешь и пропадёшь.

– Нет, – сказал Кёроглу, – я должен ехать.

– Да скажи, наконец, – настаивали удальцы. – Почему ты должен ехать?

Кёроглу прочёл им письмо Нигяр. Выслушав его, Дели-Гасан повернулся к воинам и сказал:

– Разве может не ехать он после этакого письма? Такому молодцу, как наш Кёроглу, как раз под пару будет такая розочка, как султанская дочь. Только, друг Кёроглу, путь тебе предстоит трудный и опасный. Не ездии один. Позволь и нам отправиться с тобой.

Тут Кёроглу сказал:

– Нет, Дели-Гасан! Мои отважные удальцы, за Нигяр-ханум отправлюсь я один. Вы оставайтесь. Охраняйте Ченлибель.

Сказав это, Кёроглу поднялся. Отвага его пришлась по нраву Белли-Ахмеду.

– Кёроглу! – сказал он. – Поверь глазу моему – только ты достоин Нигяр-ханум. Жаль, если девушка эта достанется кому-нибудь другому…

– Ну, я отправляюсь в путь, – сказал Кёроглу Дели-Гасану: – Тебе поручаю заботу о молодцах. А Белли-Ахмеду придётся побыть у вас до моего возвращения…

Молнией нёсся окрылённый Гырат, перелетал через горы, мчался над долами. Другой бы такой путь и за неделю не осилил, а он уже на следующий день к вечеру подскакал к Стамбулу.

Кёроглу постучался в двери первого же, встретившегося ему на окраине домика. Ему открыла старушка.

– Послушай, мать, я из дальних стран, – обратился к ней Кёроглу, – не приютишь ли ты меня на одну ночь?

– Почему бы нет? – отвечала старушка. – Пусть хоть смерть зайдёт в дом, куда не заходят гости. Слезай, заходи!

Кёроглу спешился. Провёл Гырата на конюшню, а сам вошёл в дом и сел в сторонке. Старуха принесла хлеба. Поев, Кёроглу стал расспрашивать старуху про её жизнь.

– Эх, – вздохнула она, – на всём свете у меня есть один-единственный сын, **зеница моего ока**[11]. Он садовник в гранатовом саду дочери султана Нигяр-ханум.

Кёроглу принял это за доброе **предзнаменование**[12]. Казалось, *счастье само свалилось к нему с неба.* Говоря о том о сём, он разузнал, что самого султана в Стамбуле нет: он отправился в паломничество в Мекку.

– Послушай, мать, – спросил он старуху, – а где же твой сын?

– Дочь нашего султана, Нигяр-ханум, – ответила старуха, – каждый месяц с сорока своими красавицами- прислужницами отправляется гулять в гранатовый сад.

---

[11] ***Зени́ца моего́ о́ка*** *– свет моих очей; кто-то, что-то очень дорогое.*

[12] ***Предзнаменова́ние*** *– явление, предвещающее что-нибудь.*

Послезавтра как раз наступает срок. Она придёт. Значит, сыну надо присмотреть, чтобы в саду всё было в порядке.

Допоздна затянулась беседа Кёроглу со старухой, но сколько они ни ждали, сын старухи так и не пришёл…

Не успел он (Кёроглу) лечь, как тут же уснул. От богатырского храпа его трясся весь домик…

Словом, проспали они эту ночь. Настало утро.

Кёроглу встал, накормил, напоил коня, почистил его, дал старухе денег, чтоб купила, что потребуется, и приготовила поесть. И ещё велел ей позвать сына.

А сам вышел из дому и отправился к одному мастеру. Уплатив пригоршню золотых, заказал он султанскую именную печать и положил её в карман.

Оттуда Кёроглу направился к уличному писцу, славившемуся своим уменьем писать молитвы и заклинания. Тот, нацепив очки на кончик носа, сидел поджидая заказчиков, Кёроглу подошёл к нему и сказал:

– Эфенди, есть у меня старуха-бабушка. Вот уже долгое время она *лежит на смертном одре*. Что только мы ни делаем, не даёт ей Аллах здоровья. Теперь мне указали на тебя. Говорят, пишешь чудодейственные молитвы. Пойдём, напиши одну для моей бабушки.

Эфенди поспешно поднялся на ноги. Захватив перо и чернильницу, пошёл с Кёроглу, как говорится, ***держась одной рукой за карман, а другой – за иман***[13].

Шли они, шли и, наконец, дошли до дома старухи. Смотрит эфенди, носится по двору какая-то старуха и хлопот у неё по горло: готовит обед.

– Послушай, игид, ты говорил, что бабушка твоя больна, а она вон мечется по двору? – сказал он Кёроглу.

Кёроглу подошёл к нему поближе:

– Эфенди, если тебе дорога жизнь, достань перо и бумагу и от имени султана напиши письмо его дочери Нигяр-ханум.

Тот покосился на Кёроглу и ответил:

– Кто я, и кто султан, о чём ты толкуешь?

Схватил его Кёроглу за руки и сказал:

– Эфенди, не заставляй меня напрасно *проливать кровь*. Вынь перо, бумагу и пиши!

– Душа моя, – ответил тот, – что же мне писать от имени султана его дочери? Как я могу знать?

– Что писать, скажу я. Ты приготовь бумагу и перо.

Видит тот, нет, от этого удальца легко не отделаешься. Дрожащими руками вынул он клочок бумаги. Кёроглу сказал:

– Напиши от имени падишаха его дочери Нигяр: «Человек, который вручит тебе это письмо, – мой **чавуш**[14]. Принять его должно в моём дворце с таким же почётом и уважением, как бы это был я сам».

Эфенди, поглядывая исподлобья на Кёроглу, написал письмо. Только принялся он поспешно запечатывать его, как Кёроглу сказал:

– Подожди, дай я посмотрю, что ты там написал. Эфенди побледнел.

– Нет, я ещё не кончил, – заикаясь пролепетал он. – Я некрасиво написал, с ошибками. Придётся писать всё сначала.

Прочёл Кёроглу и увидел, что эфенди написал: «Нигяр-ханум! Это разбойник, как только он придёт, прикажи схватить его и повесить».

---

[13] ***Има́н*** *– вера.*

[14] ***Чаву́ш*** *– предводитель каравана, курьер.*

Кёроглу гневно посмотрел на писца и сказал:

– Не думай, что я не знаю грамоты. А письмо должен написать ты, чтобы оно было написано вашим языком.

Эфенди в страхе порвал письмо, написал новое и протянул Кёроглу. Тот посмотрел и увидел – теперь всё написано так, как надо. Приложил к письму сделанную по его заказу султанскую печать и спрятал письмо в карман.

– Эфенди, – сказал он затем, – думал я, что ты добрый человек и собирался отблагодарить тебя. А приходится поступать по-иному. Теперь вижу – нельзя выпускать тебя отсюда. Уйдёшь ты и всё дело испортишь. А убивать тебя тоже не хочу. Жалею. Дел у меня тут на два дня. И придётся тебе эти два дня оставаться здесь. Если не подымешь шум-гам, перед отъездом я награжу тебя за второе письмо, а если не будешь сидеть спокойно, тогда получишь сполна за первое письмо.

Сказав это, Кёроглу втолкнул писца в конюшню, где стоял Гырат, запер дверь на замок и спрятал ключ.

Потом Кёроглу пошёл на базар и купил всё, что нужно было, чтобы одеться чавушем. Переодевшись и взяв в руки чётки, он направился ко дворцу султана.

Привратники[15], увидев в руке его письмо с печатью султана, склонились до земли. Ворота распахнулись настежь. И Кёроглу, пройдя во двор, громко крикнул:

– Где Нигяр? Или она боится простудить ноги, если выйдет мне навстречу?..

Прислужница провела его в покои и побежала известить Нигяр-ханум. Когда же та в окружении сорока красавиц вышла к нему, увидел Кёроглу, что Белли-Ахмед говорил правду. Нигяр и впрямь была достойна стать его возлюбленной. Намекнул он, чтобы девушки вышли: ему, дескать, надо сказать ей нечто секретное.

Девушки вышли. Когда Кёроглу и Нигяр-ханум остались наедине, снял он с себя и отбросил в сторону **абу**[16]и **чалму**[17]. Смотрит Нигяр и видит – чавуш превратился в красивого молодца. Кёроглу прижал руки к груди и поклонился Нигяр-ханум. Нигяр-ханум не ответила на его поклон. Кёроглу поклонился снова. И снова Нигяр- ханум не ответила на поклон и попыталась покинуть покои.

Взял Кёроглу свой саз и послушаем, что спел:

Тобой непринятый привет
Заставит горевать тебя.
Я беден. У ашуга нет
Казны, чтоб в жёны взять тебя…
Пусть нет монет, чтоб раздавать,
Богатства нет, чтоб разбросать –
Одно осталось – *силой взять*
И в Ченлибель умчать тебя.
О, гор каких прохлада ты,
И плод какого сада ты,
Нигяр, моя отрада ты –
И должен мир узнать тебя!

…Слышит Нигяр-ханум, что он упоминает имя Кёроглу.

---

[15] ***Привра́тники*** *– стражи у ворот.*

[16] ***Аба́*** *– верхняя одежда, шерстяной плащ.*

[17] ***Чалма́*** *– головной убор.*

Видит, что золотой браслет, посланный ею с Белли-Ахмедом, украшает саз ашуга. И поняла – это Кёроглу! Её голубые глаза пытливо посмотрели на него. Говорят, любовь таится в очах. Взгляды их скрестились, сердца забились сильнее.

Кёроглу подошёл ближе и взял её за руку.

– Что ты думаешь делать? – спросила Нигяр.

– Я приехал из Ченлибеля увезти тебя. О чём ещё думать?

– Как же ты увезёшь меня? – спросила Нигяр. – Кругом столько войска. А если даже увезёшь, то куда?

Кёроглу ответил ей:

Светлоокая Нигяр, тебя
В горы Ченлибеля увезу.
На Гырата усажу тебя
И, как вихрь метели, увезу…

Я перед султаном не дрожу,
Войско вышлет – войско отражу
И для крови русло проложу,
Чтоб валы кипели, – увезу.

Кёроглу отважен, как всегда.
Пусть меня страшатся господа,
Мы с Нигяр перелетим туда –
Прямо к Ченлибелю, – увезу.

– Нет, здесь одного удальства мало, – сказала Нигяр. – Силою ничего не добьёшься. Лучше, пока мои люди ничего не заметили, надень свою чалму, абу и уходи отсюда. Завтра я пойду на прогулку в гранатовый сад. Если сумеешь похитить, похищай меня оттуда.

Видит Кёроглу – Нигяр рассуждает разумно. Вышел и отправился прямо в дом старухи. А там уже сын старухи пришёл и ждёт его. Поздоровавшись, они сели. Юноша спросил Кёроглу, зачем он приехал…

(В своей песне Кёроглу объяснил цель своего приезда в Стамбул).

– Послушай, игид, – сказал юноша, – как ты один сможешь увезти Нигяр-ханум, когда кругом османские войска?

– Ты пусти меня в сад, – отвечал Кёроглу, – а как увезу, это дело моё.

… Кёроглу сел на Гырата и вместе с молодым садовником отправился в гранатовый сад. Приехав туда, он сошёл с коня, привязал его, а сам, усевшись под гранатовым деревом, стал ждать прихода Нигяр-ханум. Много ль времени прошло, мало ли, видит Кёроглу, идёт Нигяр-ханум, а с нею сорок красавиц-девушек.

Кёроглу спрятался за дерево! Девушки прошли мимо. Ни одна не заметила его. Погуляли они немного, и Нигяр-ханум, сказав, что устала, села под дерево. Разослала она девушек в разные стороны и осталась одна. Вышел Кёроглу из своей засады и подошёл к Нигяр-ханум. Поклонился ей и сказал:

– Нигяр-ханум, я готов!

– На чём же ты повезёшь меня в Ченлибель? Разве не страшат тебя войска моего отца? Ведь им числа нет.

– Не тревожься, Нигяр-ханум, – ответил Кёроглу, – только бы нам сесть на Гырата, а там нам уже ничего не страшно.

– Ты всё твердишь о Гырате, – сказала Нигяр. – Что это за конь? Неужто он пронесёт нас обоих сквозь такие преграды?..

(Кёроглу взял саз и спел песню, в которой стал прославлять силу, выдержку и доблесть Гырата).

– Как ты прославляешь своего Гырата, – сказала Нигяр-ханум. – Пойдём же посмотрим, что это за конь.

Кёроглу подвёл Нигяр к Гырату. Видит Нигяр, конь в самом деле чудесный. Отвязав его, Кёроглу соколом взлетел ему на спину. Не успела Нигяр и глазом моргнуть, как Кёроглу обхватил её одной рукой, поднял и посадил позади себя. Конь взвился на дыбы и перелетел через каменную ограду.

– Постой, подожди, нельзя же так, давай подумаем, посоветуемся! – закричала Нигяр.

Но Кёроглу уже мчался по дороге к Ченлибелю…

Кёроглу… обернулся и увидел вдали целую рать. Повернул он коня обратно, остановился и стал ждать. Видит Нигяр, что Кёроглу решил принять бой и говорит:

– Кёроглу, не следовало тебе похищать меня, а, коли похитил, не мешкай, езжай дальше. У отца войск много, а ты один. Тебе с ними не справиться. Не вступай в бой!

– Как повезу я теперь тебя в Ченлибель? – ответил Кёроглу. – Потом скажут, что я хитростью выкрал дочь султана и привёз. Должен я сразиться с ними.

Тут как раз и подошло войско султана. Кёроглу, не снимая Нигяр-ханум со своего коня, обнажил египетский меч и ринулся на врага.

Оставим их тут сражаться, а пока расскажем об удальцах в Ченлибеле.

Долго ждал Дели-Гасан, видит, Кёроглу не едет. Собрал он удальцов и сказал:

– Кёроглу не вернулся. Может его схватили, и мы останемся без атамана. Надо ехать за ним.

Оставив половину отряда с Дели-Мехтером в Ченлибеле, остальных Дели-Гасан взял с собой и отправился искать Кёроглу. Ехали они, ехали и подоспели ко времени. Видят, Кёроглу косит мечом направо и налево. Удальцы, издав свой боевой клич, бросились на султанскую рать. Бой разгорелся…

Тут у игидов разгорелось сердце пуще прежнего. С одной стороны – Кёроглу, а с другой – его удальцы помчались на султанские войска, и павшие – пали, уцелевшие – бросились врассыпную.

Кёроглу с Нигяр-ханум двинулся во главе отряда к Ченлибелю. Долго ли ехали, коротко ли, через горы и реки, холмы и овраги, доехали, наконец, до Ченлибеля…

В Ченлибеле поднялась суета. Все удальцы, вооружившись и вскочив на коней, выехали навстречу. Кто стрелял из лука, кто джигитовал с мечом, кто с копьём. Склоны Ченлибеля превратились в **ристалище**[18]. Нигяр-ханум сняли с коня, усадили на застланные ковром крытые носилки и подняли в Ченлибель.

И пошёл тут пир: кто играл, кто танцевал, кто пел. Кёроглу и Нигяр усадили на почётное место среди пировавших. Разостлали **суфры**[19].

Всем было весело. Глаза и лица так и горели. Но счастливей всех был Белли-Ахмед. Словно витал он на седьмом небе.

---

[18] ***Ристáлище*** *– площадь для конных состязаний.*

[19] ***Суфрá*** *– скатерть.*

Самед ВУРГУН
АЗЕРБАЙДЖАН

(в сокращении)

Я ходил по горам, я глядел меж лугов
В журавлиные очи родных родников;
Издалека выслушивал шум тростников
И ночного Аракса медлительный ход…
Здесь я дружбу узнал, и любовь, и почёт.

Можно ль душу из сердца украсть? — Никогда?
Ты — дыханье моё, ты — мой хлеб и вода!
Предо мной распахнулись твои города.
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

На горах твоих кудри белей молока,
Как чадра, укрывают тебя облака,
Над тобою без счета промчались века,
От невзгод поседела твоя голова…
Как ты много терпела — и снова жива.

И невежды порочили имя твоё,
И безумцы пророчили горе твоё,
И надежды измучили сердце твоё,
Но пришла благородная слава твоя,
Велики твои дочери и сыновья!

Пусть Баку мой неведомый гость навестит:
Миллионами солнц его ночь поразит.
Если северный ветер на вышках гудит,
Откликается эхом песчаный простор,
Полуночные горы ведут разговор…

Можно ль мать у ребёнка украсть? — Никогда!
Ты — дыханье моё, ты — мой хлеб и вода!
Предо мной распахнулись твои города.
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

На серебряном Каспии Ветры свистят,
Изумрудные пёрышки уток блестят…
Пусть влюблённые путники нас навестят,
В Шемахе и в Шамхоре пусть выпьют вина!
Ах, как жизнь коротка, как дорога длинна!

Любоваться хотел бы я тысячу лет,
Как играет в ущельях рассеянный свет…
Пробегает олень, олененок вослед,
И зовет, и под камнем находит приют,
А быки на эйлагах молчат и жуют…

Рано утром, поэт-путешественник, встань!
Пред тобой Астара, пред тобой Ленкорань.
Из Египта, из Индии в раннюю рань
К нам слетаются птицы, ликуя, крича,
Словно вышли на волю из рук палача!

Здесь желтеют лимоны колхозных садов,
Нагибаются ветви под грузом плодов,
И тому, кто работал, здесь отдых готов…
Золотого чайку завари и налей,
О невеста, для матушки старой моей.

В Ленкорани цветы и свежи, и стройны,
И прекрасны, как женщины нашей страны.
И амбары колхозные хлебом полны,
Белый хлопок сияет, как снег на горах…

Сядь в Казахе на красного с искрой коня,
Приласкай его, добрую дружбу храня!
Он тебя понесёт мимо шумного дня
На вершины Кяпаза, где холод остёр,
Погляди на Гейгель, королеву озёр!

О страна моя, родина музыки — ты!
Твои песни, как летом плоды, налиты!
Ты — серебряная колыбель красоты!
Сгустки музыки — тысячи наших сердец,
В каждом малом селе есть любимый певец.

Не умрёт Насими, не умрет Физули —
Дорогие поэты старинной земли,
Как туманные звезды, мерцают вдали…
Но родится здесь много таких, как они,
Это — близкие, это — земные огни!

Можно ль песню из горла украсть? — Никогда!
Ты — дыханье моё, ты — мой хлеб и вода!
Предо мной распахнулись твои города…
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

Микаил МУШФИГ
ВЕТРЫ

И днём, и ночью, пространство меря,
Врываются ветры ко мне с доверьем.
Они, как друзья, стучат в мои двери.
Вы схожи со звонкими струнами, ветры,
Весь век остаётесь вы юными, ветры.

Одни, как спасенье, другие, как бездна.
Одни – мягкосердны, другие – железны.
Одни – бесполезны, другие – полезны.
О ветры мои, вездесущие ветры,
Далёкие запахи несущие ветры.

Холодные ветры с горы белоснежной,
Напившись в полянах росы самой нежной,
Вновь в горы вы держите путь безмятежный:
Возьмите меня вы с собою, ветры,
Я сердце своё вам открою, ветры.

Пусть громом грохочет моё вдохновенье.
И буря моя, и любовь, и смятенье,
И слава моя, и моё откровенье,
Я с вами, мне силу придавшие, ветры,
Так часто меня окликавшие ветры.

АНАР
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ УХОДЯЩЕГО ГОДА
(в сокращении)

Наступил последний вечер уходящего года. Время близилось к девяти.

Гамида-хала хлопотала на кухне. Тофик поминутно бегал к телефону, а затем влетал в кухню, чтобы выпалить очередную новость.

— Мама, знаешь, Сейран тоже придёт!

— Кто такой Сейран, милый?

— Ой, неужели ты не помнишь? Он же тебе нравился; ты ещё сама сказала, что он очень аккуратный.

— А-а-а! Ну что же, прекрасно.

Тофик волнуется. Ещё бы! Впервые за всю свою четырнадцатилетнюю жизнь он встречает Новый год в «компании». «Компания» — это его школьные друзья-восьмиклассники. Ещё три месяца назад они начали договариваться о встрече Нового года.

— Что, Тофик, всё не можешь собрать гостей? — участливо спрашивает Гамида-хала.

— Да нет, но... — мнётся Тофик и, с трудом переборов смущение, выдавливает: — Понимаешь, мам, Рауф говорит, приходите к нам. Его родители куда-то уходят... И мы будем одни. Совсем одни...

— Ну что же, милый, — произносит Гамида-хала и проводит тёплой рукой по волосам сына. — Если вам так хочется, соберитесь у Рауфа. Что тут такого...

У Тофика заблестели глаза: мать не обиделась!

...Тофик крепко целует мать и уходит.

Рустам спит в своей комнате. Так он, во всяком случае, заявил: «Я ложусь спать, не будите меня». Гамида-хала прекрасно знает причину этого «сна». Уже целую неделю Рустам в ссоре со своей невестой, и они принципиально не звонят друг другу.

Дилара не может найти себе места. Она слоняется из угла в угол, перелистывая старые журналы, включает телевизор и то и дело поглядывает на телефон. А телефон молчит.

Гамида-хала продолжает стряпать.

Раздаётся звонок. Гамида-хала отворяет двери. В переднюю входят Гюляра и её муж Сулейман с Вагифом на руках.

— Милости просим, — радушно встречает их Гамида-хала. — Проходите в комнаты, я сейчас.

«Что бы им прийти на десять минут раньше. Как было бы хорошо! — думает она. — Вся семья была бы в сборе. Даже если бы Тофик и ушёл потом...»

Гамида-хала моет руки и спешит к гостям.

— Какими судьбами?

— Пришли поздравить тебя с Новым годом, — отвечает Гюляра.

Снова звонок. В комнату, запыхавшись, влетает подруга Дилары Лейла.

— Ой, знаешь, Дилара, уф, не могу!..

— Да ты отдышись, дочка, — успокаивает её Гамида-хала. — Что-нибудь случилось?

— Да ничего особенного, — переводя дыхание, отвечает Лейла. — Просто я бежала всю дорогу... Директор сказал: «Во что бы то ни стало найдите Дилару. Какой может быть без неё концерт!»

Дилара мотает головой — ни за что. Но Гамида-хала знает свою дочь. И действительно, через несколько минут девушки, нашумев, убегают.

Гамида-хала извиняется — ей надо на кухню. Гюляра следует за ней.

— Знаешь, мамочка, мы приглашены к друзьям Сулеймана. Но вот Вагиф... Пусть он побудет у тебя?

— Конечно, дочка, пусть останется..

Гюляра быстро укладывает Вагифа.

— Ну, мамочка, нам пора. Откровенно говоря, мне эта компания не по душе, я бы с удовольствием осталась с тобой, да боюсь — обидятся. Ну, дай я тебя поцелую. Как говорится, с наступающим!..

Хлопает дверь. Гамида-хала возвращается на кухню и, повторяя «всего доброго, всего хорошего», продолжает готовить плов на пятнадцать человек. Вдруг вспоминает: Рустам! Она идёт в комнату сына.

— Рустам, ай Рустам!

— Да?

— Вставай, нельзя столько спать, а то весь год проспишь!

— Ну что там ещё?

— Иди и помоги мне.

Рустам нехотя поднимается с кровати. Гамида-хала берёт его за руку и тянет в переднюю.

— Возьми трубку и звони!

— Куда звонить?

— Сам знаешь!

— Не буду!

— Нет, позвонишь! Никто из моих детей и ты сам никогда ещё не перечил мне. И если ты сегодня не сделаешь того, о чём я прошу, на всю жизнь обижусь.

— Вот только ради тебя...

Гамида-хала уходит в комнату, где уже сладко посапывает маленький Вагиф. До неё доносится жужжание вращающегося телефонного диска и негромкий голос Рустама.

— Да... здравствуй..

Несколько секунд холодного молчания и безразличное:

— Как видишь, да...

И вдруг Рустам переходит на шёпот. Гамида-хала не разбирает слов, но чувствует: в голосе Рустама уже нет ни холода, ни иронии. Потом сын начинает говорить громко. Вот сейчас — это её Рустам: ласковый, чуткий. Он чему-то смеётся, и вновь наступает молчание. Но уже не то, ледяное, а тёплое и живое.

— Ты очень хочешь, чтобы я пришёл?

«Кажется, пойдёт».

— Нет, давай завтра утром...

«Нет, не пойдёт»...

— Ну, хорошо, хорошо. Не начинай всё сначала. Может быть, приду.

«Пойдёт».

— Как, который час? Двадцать минут двенадцатого? Есть, иду!

Рустам вешает трубку и вбегает к матери.

— Мам, знаешь...

Между Рустамом и Тофиком семь лет разницы. Но смущаются они одинаково. Это от Газанфара. У того, когда он смущался или нервничал, тоже начинал дрожать мизинец.

— Иди, милый, иди. Передай ей от меня большой, большой привет!

...Попрощавшись с матерью, Рустам уходит. Стол накрыт на двенадцать человек. Сейчас он выглядит странно в безлюдной комнате...

Гамида-хала придвигает стул поближе к телевизору и садится.

— Давай побеседуем, доченька. Тебе, наверно, надоели эти передачи, ведь правда? Все празднуют, а ты здесь!..

...Девушка ушла с экрана телевизора. Передача кончилась. По бакинскому времени уже наступил новый год. Гамиде-хале стало чуточку грустно, что девушка с экрана исчезла. Теперь она была совсем одна. Вскоре позвонил Рустам, поздравил мать. Чуть позже позвонил Тофик; за ним Гюляра — поздравила, спросила о сыне. Дилара не звонила — в школе трудно добраться до телефона.

Гамида-хала включила приёмник, но лёгкая музыка пришлась ей не по душе. Она очень любила слушать Бюльбюля, и у них были отличные магнитофонные записи его песен. Гамида-хала включила магнитофон.

«Почему к концу жизни человеку остаются одни эти аппараты? — подумала она, но сразу отогнала грустную мысль. — Нет, я не права. Мне остались не одни аппараты. У меня чудные дети. И все меня любят». И вдруг ей пришла в голову странная мысль. Ей захотелось услышать голос Газанфара. Она пыталась прогнать эту мысль, но не могла. Дело в том, что Газанфар как-то записал свой голос на магнитофонную ленту. После его смерти никто в доме не решался прослушать запись. И вот теперь её неудержимо потянуло сделать это.

Не в силах совладать с собой, Гамида-хала достала из ящичка заветную ленту и вставила её в аппарат.

Послышались смех, возгласы, она различила свой голос и голоса детей. Потом наступила внезапная тишина и мягкий голос Газанфара произнёс:

— Слушай, Гамида...

У Гамиды-халы перехватило дыхание и по спине поползли мурашки.

— ... Я не поэт и не философ. Я обыкновенный рабочий.
Правда, у меня есть какое-то имя, и если соберутся пять человек, то хотя бы один из них наверняка меня знает. Но повторяю, я самый обыкновенный человек и не собираюсь мудрствовать и философствовать. Но у меня есть жизненный опыт. Я, как говорится, повидал и лицо, и изнанку жизни, и хочу тебе кое-что сказать... Придёт день, и меня не станет...

— Газанфар!..

— Не перебивай! Дай мне произнести мою литературную речь. — Газанфар вновь засмеялся. — И тогда я оставлю тебе единственный клад — наших детей. Конечно, если смерть не поспешит, я сам воспитаю их. Но если... Тогда это сделаешь ты. Не обязательно, чтобы они у нас стали врачами, инженерами, учёными. И пусть будут кем захотят, лишь бы они были людьми, хорошими людьми...

И ещё, Гамида, наступит день, все они вырастут и, как птицы, улетят из родного гнезда. Не называй их отрезанными ломтями. Помни, куда бы они ни ушли, в какую бы среду, в какую бы семью ни попали, они унесут с собой что-то твоё и моё, точно так же, как мы, встретившись, принесли каждый что-то от своих отцов и матерей.

Скажешь — философствует Газанфар? Но это истинно так: ничто в жизни не кончается, не пропадает, никто не умирает. То, что начинает один, продолжает другой. От одного поколения к другому переходит и хорошее, и плохое. Мы с тобой, Гамида, мне кажется, прожили и ещё проживём хорошую жизнь. Своими руками добывали свой хлеб. Пусть всё то доброе, что было в нашей жизни, и дети наши возьмут в свою новую жизнь...
Так... Конец ленты... Правда, можно было послушать снова. Но сколько бы ни слушала Гамида-хала, Газанфар не скажет ничего больше. Но это уже не печалило Гамиду-халу. Она взглянула на стол, и не стала ничего убирать. Прилегла рядом с Вагифом, осторожно погладила его чёрные как смоль волосы, коснулась губами тёплого лба...

Иван Андреевич КРЫЛОВ
ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой.
Тихохонько Медведя толк ногой:
«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!
Что́ это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А, ведь, признайся, есть

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть».—
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать никто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на-руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра.

Александр ПУШКИН

ОСЕНЬ

(Отрывок из стихотворения)

…Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн – таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несёт,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промёрзлый дол и трескается лёд.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит – то яркий свет лиёт,
То тлеет медленно – а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Михаил ЛЕРМОНТОВ
БОРОДИНО

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый

И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили басурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!

Антон ЧЕХОВ
ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идёт полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов.– Ребята, не пущай её! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, чугина, прыгая на трёх ногах и оглядываясь, бежит собака.

За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстёгнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперёд, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстёгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и жёлтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу.– Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает Хрюкин, кашляя в кулак.– Насчёт дров с Митрий Митричем,– и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете

– Гм!.. Хорошо...– говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. – Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям!

Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин,– обращается надзиратель к городовому,– узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова! – кричит кто-то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождём... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину.– Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

– Врёшь кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врёт, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

– Не рассуждать!

– Нет, это не генеральская... – глубокомысленно замечает городовой.– У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

– Ты это верно знаешь?

– Верно, ваше благородие...

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

– А может быть, и генеральская...– думает вслух городовой. – На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведёшь её к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашёл и прислал... И скажи, чтобы её не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

– Повар генеральский идёт, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и всё.

– Это не наша, – продолжает Прохор.– Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления.– Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

– В гости...

– Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми её... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха- ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовёт собаку и идёт с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я ещё доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Константин ПАУСТОВСКИЙ
ТЕЛЕГРАММА

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. **Тесовые крыши**[20] почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и всё доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало ещё труднее вставать по утрам и видеть всё то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный **«Вестник Европы»**[21], пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах.

Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась **тёмная вода**[22], или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет её отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном её отцом – известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в своё родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, **«мемориальный»**[23]. Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрёт она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны **Виктора Гюго**[24].

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную чёрную шляпу.

– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, что ли?

– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. – Ты продай.

– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала всё и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он ещё помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

---

[20] ***Тесо́вые кры́ши*** *– сделанные из тёса, т.е. из тонких досок.*

[21] ***«Ве́стник Евро́пы»*** *– имеется в виду журнал, издаваемый в России в XVIII-XIX веках.*

[22] ***«Тёмная вода»*** *– слепота.*

[23] ***Мемориа́льный*** *– памятный.*

[24] ***Викто́р Гюго́*** *– французский писатель XIX века.*

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберёг на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

– Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но всё же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном **ридикюле**[25]. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра...

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, **в Ленинграде**[26]. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до неё, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, своё счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца весёлый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову тёплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звёзды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

– Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад.

---

[25] ***Ридикю́ль*** *– ручная дамская сумочка.*

[26] ***Ленингра́д*** *– ныне Санкт-Петербург.*

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клён. Его она посадила давно, ещё девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клён, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна жестяная пустота.

***

Настя работала секретарём в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов – всё это проходило через её руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живёт, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его **затирают**[27] и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас она нравилась самой себе. Художники звали её **Сольвейг**[28] за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские **фетровые**[29] боты.

– Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замёрзнете. Прошу!

Он провёл Настю по тёмному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в её тёмной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты.

– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской ещё холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

– Вот, полюбуйтесь! – сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. – Непонятно, как я ещё не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от **калориферов**[30] дует теплом, как из **Сахары**[31]…

---

[27] ***Затира́ют*** *– здесь: мешают проявлять свои способности.*

[28] ***Со́львейг*** *– женское имя скандинавского происхождения, истолковывается как «хозяйка дома», «путь солнца» или «сила солнца».*

[29] ***Фетро́вый*** *– из фетра – фетр, плотный валяный материал из высококачественных сортов шерсти.*

[30] ***Калорифе́р*** *– прибор для нагревания воздуха в трубах, проводящих горячую воду или пар.*

[31] ***Саха́ра*** *– самая большая пустыня в мире, находящаяся в Африке.*

– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя.

– Выскочка! – сердито сказал Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на **неандертальского человека**[32]. Лепит деревянной лопатой. А хитёр, милая моя, хитёр, как кардинал!

– Покажите мне вашего Гоголя, – попросила Настя, чтобы переменить разговор…

– Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная её насквозь, смотрел на неё остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьётся тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока

– Ну что? – опросил Тимофеев. – Серьёзный дядя, да?

– Замечательно! – с трудом ответила Настя. – Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

– Превосходно, – повторил он. – Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьящ, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь – превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределённо хмыкнет – и готово. А Першин хмыкнул – значит, конец!.. Ночи не спишь! – крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. – Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

– Это всё о Гоголе! – сказал он и вдруг успокоился. – Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

– Ну что ж, будем драться вместе, – сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твёрдым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золочёным потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

– Куда там сейчас ехать! – сказала она и встала, – разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

…Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

– Мёртвый свет! – ворчал он. – Убийственная скука! Керосин и то лучше.

– Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? – вспылила Настя.

– Свечи нужны! Свечи! – страдальчески закричал Тимофеев. – Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвящённый, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошёл к Насте и похлопал её по руке:

---

[32] ***Неандерта́льский челове́к*** *–ископаемый вид человека.*

– Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдёт до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Ещё раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи…

В дверях появилась курьерша из Союза – добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на своё место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? – растерянно подумала Настя. – Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

– В наши дни, – говорил он, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны – да не в обиду будет сказано нашему руководству – одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семёновне.

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слёз.

Кто-то тронул её сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

– Что? – спросил он шёпотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. – Ничего неприятного?

– Нет, – ответила Настя. – Это так… От одной знакомой…

– Ага! – пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжёлый и пронзительный, Настя всё время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. – Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на неё, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На **Исаакиевском соборе**[33] выступила серая изморозь. Хмурое небо всё ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, – вспомнила Настя недавнее письмо. – Ненаглядная! »

Настя села на скамейку в сквере около **Адмиралтейства**[34] и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто её так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама».

---

[33] ***Исаа́киевский собо́р*** *– православный храм в Санкт-Петербурге.*

[34] ***Адмиралте́йство*** *– историческое здание в Санкт-Петербурге, в котором в XIX в. размещалось Морское министерство.*

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что? – думала она, ничего не видя. – Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила ».

Настя вышла на **Невский проспект**[35], к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у неё дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

– Что с вами, гражданка? – недовольно спросила она.

– Ничего, – ответила Настя. – У меня мама…

Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

– Куда вы? – крикнула кассирша. – Сразу надо было сказать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что **«Красная стрела»**[36] едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

…Тихон пришёл на почту, пошептался с почтарём Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплёлся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда весёлый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала – от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, ещё при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по жёлтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришёл Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

– Что, Тиша? – бессильно спросила Катерина Петровна.

– Похолодало, Катерина Петровна! – бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. – Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьёт – значит, и ей будет способнее ехать.

– Кому? – Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

– Да кому же другому, как не Настасье Семёновне, – ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. – Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

– Вот! – сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул её Катерине Петровне

Но Катерина Петровна её не взяла, а всё так же умоляюще смотрела на Тихона.

---

[35] ***Не́вский проспе́кт*** *– главная улица Санкт-Петербурга.*

[36] ***«Кра́сная стрела́»*** *– скорый поезд, курсирующий между Санкт-Петербургом и Москвой.*

– Прочти, – сказала Манюшка хрипло. – Бабка уже читать не умеет. У неё слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочёл: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя ».

– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплёвывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошёл на цыпочках и всей **пятернёй**[37] отёр лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе её горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь **пустельгой**[38]… Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушёл, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмёрзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и весёлым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины – старички, будто заросшие чистой **паклей**[39]. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нём росли высокие, жёлтые от **лишаев**[40] вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого ещё в Заборье не знал

– Учителька идёт, учителька! – зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем ещё девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать – вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на неё, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами – уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрёну:

– Одинокая, должно быть, была эта старушка?

– И-и, мила-ая, – тотчас запела Матрёна, – почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Всё, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у неё в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались тёмными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась

---

[37] ***Пятерня́*** *– пять пальцев руки вместе с ладонью.*

[38] ***Пустельга́*** *– хищная птица семейства соколиных.*

[39] ***Па́кля*** *– это очищенные льняные волокна.*

[40] ***Лиша́й*** *– накожная сыпь, являющаяся в виде парши или струпьев на теле.*

и поцеловала Катерину Петровну в высохшую жёлтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в лёгком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за её спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи – предсказывали ясные дни, лёгкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нём смёрзлась комками – и холодную тёмную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжёлый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы её никто не увидел и ни о чём не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с неё непоправимой вины, невыносимой тяжести.

Сергей Владимирович МИХАЛКОВ
ОШИБКА

Прибежал как-то Заяц к Журавлю.

– Журавушка, дорогой! Ты хорошо зубы лечишь, вставь мне, пожалуйста, зубы!

– Да они у тебя хорошие!

– Хороши, да малы! Вставь мне львиные клыки!

– Зачем тебе клыки?

– Я с Лисой рассчитаться хочу! Надоело мне от неё бегать, пусть она от меня побегает!

Улыбнулся Журавль и вставил Зайцу искусственные зубы – два львиных клыка. Совсем как настоящие! Страшно смотреть!

– Вот здорово! – воскликнул Заяц, посмотрев на себя в зеркало. – Побегу Лису искать!

Бежит Заяц по лесу – Лису ищет, а она сама ему навстречу из-за кустов выходит. Увидел Заяц Лису и бросился от неё наутёк. Прибежал к Журавлю – дрожит, трясётся от страха.

– Жу-жу-ра-равушка, дорогой! Замени клыки!

– А эти чем плохи?

– Не плохи, да малы! Против Лисы не годятся! Может, у тебя какие побольше есть?

– Не поможет! – ответил Журавль. – Ошибся я, Косой! Надо было тебе сердце заменить: твоё, заячье, выкинуть, а львиное поставить!...

Оливер ГЕНРИ
ДАРЫ ВОЛХВОВ[41]

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было всё. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слёз, вздохов и улыбок, причём вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью «М-р Джеймс Диллингхем Юнг». «Диллингхем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» – и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делл а кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у неё только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот всё, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались боль - ше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму...

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких **створках**[42], составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

---

[41] ***Волхвы́*** *– это звездочёты и предсказатели. Согласно Евангелию, волхвы пришли поклониться новорождённому Христу и принесли ему подарки. Это заложило основы традиции христианского мира дарить подарки на Рождество.*

[42] ***Ство́рка*** *– каждая из двух половинок растворяющихся и затворяющихся предметов (ворот, дверей, ставней и т. п.).*

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза её сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно – золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое – волосы Деллы. Если бы **царица Савская**[43] проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы – специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения её величества.

Если бы **царь Соломон**[44] служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана – специально для того, чтобы увидеть, как он рвёт на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колеи и плащом окутывали почти всю её фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковёр.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову – и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. *Всевозможные изделия из волос»*. Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

– Не купите ли вы мои волосы? – спросила она у мадам.

– Я покупаю волосы, – ответила мадам. – Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

– Двадцать долларов, – сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

– Давайте скорее, – сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях – прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она всё в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, – такими и должны быть все хорошие вещи. Её, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела её, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство – эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчёту. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причинённые великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

---

[43] ***Са́вская цари́ца*** *– легендарная царица, которая, согласно преданию, услышав о славе царя Соломона, пришла в Иерусалим испытать его загадками и изумилась его мудрости.*

[44] ***Царь Соломо́н*** *– Третий еврейский царь, согласно множеству легенд, мудрейший из людей и справедливый судья. Во время правления царя Соломона был построен Иерусалимский Храм.*

Не прошло и сорока минут, как её голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали её удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, – сказала она себе, – если Джим не убьёт меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с **Кони-Айленда**[45]. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов! »

В семь часов кофе был сварен, и раскалённая сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У неё была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

– Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь отворилась, Джим вошёл и закрыл её за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелёгкое дело в двадцать два года быть обременённым семьёй! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мёрзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно **сеттер**[46], учуявший **перепела**[47]. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрёк, ни ужас – ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на неё, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

– Джим, милый, – закричала она, – не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

– Ты остригла волосы? – спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он всё ещё не мог осознать этот факт.

– Да, остригла и продала, – сказала Делла. – Но ведь ты меня всё равно будешь любить? Я ведь всё та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоумённо оглядел комнату. – Так, значит, твоих кос уже нет? – спросил он с бессмысленной настойчивостью.

– Не ищи, ты их не найдёшь, – сказала Делла. – Я же тебе говорю: я их продала – остригла и продала. Сегодня **сочельник**[48], Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, – продолжала она, и её нежный голос вдруг зазвучал серьёзно, – но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займёмся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета.

---

[45] ***Ко́ни-А́йленд*** *(англ. Coney Island) — полуостров, бывший остров, расположенный в США.*

[46] ***Се́ттер*** *– порода собак из группы легавых, использовавшихся в средние века для охоты на птиц с сетью.*

[47] ***Пе́репел*** *– небольшая коричневая птица с ржаво-жёлтыми полосками на спине.*

[48] ***Сочéльник*** *– канун церковных праздников Рождества и Крещения.*

Что больше – восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намёки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто свёрток и бросил его на стол.

– Не пойми меня ложно, Делла, – сказал он. – Никакая причёска и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот свёрток, и тогда ты поймёшь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечёвку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же – увы! – чисто по-женски сменившийся потоком слёз и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали **гребни**[49], тот самый набор гребней – один задний и два боковых, – которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине **Бродвея**[50]. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, мешками, и как раз под цвет её каштановых волос. Они стоили дорого – Делла знала это, – и сердце её долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Всё же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слёзы, сказала: – У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котёнок, и воскликнула:

– Ах, боже мой!

Ведь Джим ещё не видел её замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах её бурной и искренней радости.

– Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть всё вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лёг на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

– Делл, – сказал он, – придётся нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

---

[49] ***Гре́бень*** *–здесь: продолговатая пластинка с рядом зубьев для расчёсывания волос, для скрепления причёски.*

[50] ***Бродве́й*** *– старейшая из крупных улиц Нью-Йорка.*